



Н. Я. ЭЙДЕЛЬМАН

Последний летописец

<Фрагменты>

«Жалею, что не имею права похвастаться пред тобою своею философическою умеренностью! Не многие отказываются, от чего я отказался». Писано (Карамзиным. — *Сост.*) другу-министру Дмитриеву 11 февраля 1811 года после очередной поездки в Тверь.

Это особая любопытнейшая глава карамзинской биографии, лежащая несколько в стороне от нашего повествования, но нельзя обойти. Великая княгиня Екатерина Павловна приглашает один раз, другой, третий: Карамзин ездит с женою, объяснив сестре царя, что они «дали друг другу слово не расставаться, пока живы». Однажды приезжают царь, великий князь Константин. Просят читать. Историограф открывает тома о татарском нашествии, Дмитрие Донском. Читает час, другой — просят еще... Одно из чтений продолжается далеко за полночь. Слушают хорошо — Константин с солдатской прямоотой после признается, что из всей российской истории теперь только и знает услышанное от Карамзина...

Царь — о своем.

Сардинский посол и знаменитый публицист граф Жозеф де Местр записал незадолго перед тем об Александре: «К несчастью, его подданные гораздо охотнее порицают его, чем раскрывают ему глаза». По-видимому, это отзвук беседы посла с царем. Александр жаловался. Колеблющийся между парадом и просвещением, между самодержавием и конституцией, между союзниками вчерашними (Англия, Австрия, Пруссия) и новым другом Наполеоном; никогда не забывающий, какою ценою 12 марта 1801 года он получил трон, до конца никому не доверяющий, никогда почти не улыбающийся, — император мечтает о верных друзьях...

Царь почувствовал стиль, тон историка — его вежливую независимость и бескорыстие. Особенно после того, как по заказу царской

сестры Карамзин пишет совершенно особое сочинение, ради которого пришлось отложить XIV и XV века. «Записка о древней и новой России», несколько десятков листов, — взгляд историка древности на все, вплоть до сегодняшнего дня. Один из первых, разумеется, секретнейших курсов российской истории и политики от IX до XIX века, причем более всего — о последнем столетии, начиная с Петра Великого...

То есть о том времени, куда Карамзин не чаёт дойти в своей Истории, но в котором живет; которое в нем и через него все время «проецируется» на рассказы о Батые, Калите.

Взгляд прямой, резкий, откровенный.

Эпиграф: «Несть льсти в языке моем» — нет лести...

Петр «нашел средство делать великое. <...> Оставим ли без замечания вредную сторону его блестящего царствования?»

Главное обвинение историка: в XVIII веке нарушены некоторые важные, естественные пути, которыми прежде шел народ, двигалась русская история; речь идет о «повреждении нравов» в России (хотя щербатовского потаенного памфлета историк, по-видимому, не знал).

«Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виню Петра». В допетровские времена «от сохи до престола россияне сходствовали между собою некоторыми общими признаками наружности и в обыкновениях, — со времен Петровых высшие степени отделились от нижних, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах, ко вреду братского, народного единодушия государственных состояний... Однако ж должно согласиться, что мы, с приобретением добродетелей человеческих, утратили гражданские». Историк вспоминает также многое как бы хорошо известное, но никогда не произносившееся: что при Петре «Тайная канцелярия день и ночь работала в Преображенском: пытки и казни служили средством нашего славного преобразования государственного»; что при Екатерине II «нравы более развратились в палатах и хижинах, — там от примеров двора любострастного, — здесь от выгодного для казны умножения питейных домов. Пример Анны и Елисаветы извиняет ли Екатерину? Богатства государственные принадлежат ли тому, кто имеет единственно лицо красивое? Слабость тайная есть только слабость; явная — порок, ибо соблазняет других. Самое достоинство государя не терпит, когда он нарушал устав благонравия: как люди ни развратны, но внутренне не могут уважать развратных». Впрочем, здесь Карамзин уже почти мемуарист — он ведь своими глазами видел, как «сыновья бояр наших рассыпались по чужим землям тратить деньги и время для

приобретения французской или английской наружности. У нас были Академия, высшие училища, народные школы, умные министры, приятные светские люди, герои, прекрасное войско, знаменитый флот и великая монархия — не было хорошего воспитания, твердых правил и нравственности в гражданской жизни». Все это для Карамзина не просто дурные или хорошие поступки, но «вредные следствия петровской системы», которые «яснее открылись при сей государыне [Екатерине II]». Затем на страницах «Записки» — «вредное царствование Павла», пресеченное «способом вредным».

Наконец, современность, александровское правление. Записка историческая становится все более политической. «Чего хочу? С добрым намерением — испытать великодушие Александра и сказать, что мне кажется справедливым и что некогда скажет История». Историк все время ссылается на историю, на времена своих первых томов, но что же он советует царю, опираясь на опыт столетий?

Не торопиться с конституционными реформами: «Самодержавие есть палладиум России; целостность его необходима для ее счастья».

Не торопиться с отменой крепостного права: «Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу (ибо тогдашние обстоятельства не совершенно известны), но знаю, что теперь им неудобно возвратить оную. Тогда они имели навык людей вольных, — ныне имеют навык рабов. Мне кажется, что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, для которой надобно готовить человека исправлением нравственным; а система наших винных откупов и страшные успехи пьянства служат ли к тому спасительным приготовлением? В заключение скажем доброму монарху: “Государь! История не упрекает тебя злом, которое прежде тебя существовало (положим, что неволя крестьян и есть решительное зло), но ты будешь ответственать Богу, совести и потомству за всякое вредное следствие твоих собственных уставов”».

Карамзин не за освобождение крепостных, но за открытие школ: сначала просвещение, потом свобода.

Если же крестьяне все-таки вскоре получат свободу, то «сии земледельцы не будут иметь земли, которая — в чем не может быть и спора — есть собственность дворянская».

Мы, в XX веке, еще можем спокойно, исторически судить, а декабристы (они выступят на сцену всего через несколько лет), если бы они прочитали эти строки, то нашли бы крепкие слова в адрес их автора: невежда, гасильник, враг человечества или что-либо в этом роде. Ведь фраза в скобках («положим, что неволя... решительное зло») намекает, что еще и неизвестно, такое ли это зло — крепостное право? Но почему же «не может быть спора», чья земля, если крестьяне ее

обрабатывали веками под властью помещиков и тысячелетиями — до всяких помещиков?

И как не заметить, что «страшные успехи пьянства» — вовсе не довод за сохранение рабства, а наоборот; что множество недостатков русской жизни как раз следствие рабства, неестественной жизни миллионов людей: Карамзин же сам, на соседних страницах, дает резкую, правдивую критику разных российских неустройств — и тут уж говорит смело, рискованно о «главных действиях нынешнего правительства и неудаче их»: «Если прибавить к сему частные ошибки министров в мерах государственного блага: постановления о соли, о суконных фабриках, о прогоне скота, имевшие столь много вредных следствий, — всеобщее бесстрашие, основанное на мнении о кротости государя, равнодушие местных начальников ко всяким злоупотреблениям, грабеж в судах, наглое взяткобрательство капитан-исправников, председателей палатских, вице-губернаторов, а всего более самих губернаторов — наконец, беспокойные виды будущего, внешние опасности — то удивительно ли, что общее мнение столь не благоприятствует правительству?»

Внешние опасности — особенно болезненный для царя мотив: «Надлежало забыть Европу, проигранную нами в Аустерлице и Фридрихсланде, надлежало думать единственно о России, чтобы сохранить ее внутреннее благосостояние, т. е. не принимать мира, кроме честного, без всякого обязательства расторгнуть выгодные для нас торговые связи с Англией и воевать со Швецией, в противность святейшим уставам человечества и народным. Без стыда могли бы мы отказаться от Европы, но без стыда не могли служить в ней орудием наполеоновым, обещав избавить Европу от его насилий». Это открытое порицание союза с Бонапартом, всей внешней политики после Тильзитского мира. Собственно говоря, один из доводов историка против коренных реформ (не единственный, но важный) — что Бонапарт у ворот, и нельзя при этих обстоятельствах менять систему (намек на Сперанского). Тут, конечно, был свой резон, но мы вовсе не собираемся «защищать» историографа только потому, что он наш герой.

Нелегко разглядывать прошедшее: вот — писатель, ученый, которого, кажется, хорошо понимаем, чувствуем. Он говорит, думает умно, нравственно, нам созвучно; только к нему привыкли — глядь, а он своевольничает: он вдруг такой крепостник и консерватор, что нам обидно. Мы не ожидали, мы не понимаем, как согласуется любезное нам высокое благородство с такими «отсталыми понятиями»?

Согласуется.

Во-первых, во всем искренность. Историк продолжает говорить и писать, что думает. Во-вторых, мы видим, как острейшая критика

«слева» переходит направо и обратно. Царя призывают не ослаблять свою власть, не торопиться с конституцией, но развивать просвещение в самом широком смысле этого слова — в рамках господствующей, естественной (по Карамзину) системы. Довод за естественность в сущности один, но сильный: система существует уже много веков и, стало быть, соответствует духу, уровню страны, народа. В один день — не переменить; нужна длительная просветительская, нравственная подготовка...

Карамзин был не один: он выступал от имени многих дворян, опасавшихся «сперанских реформ»; его поддерживала царская сестра. Им, как известно, удалось остановить «план государственных преобразований», свалить Сперанского. Вопрос о самодержавии, крепостном праве откладывался на неопределенное время...

Разумеется, мы не можем уверенно сказать, что было бы, если б Сперанский взял тогда верх. Однако имеем право предполагать, что для страны это было бы хорошо; что глубоко продуманный, тщательно разработанный план мог на много десятилетий ускорить российский прогресс; что серьезные реформы уже назрели и были бы естественными...

«Вижу опасность, но еще не вижу гибели», — восклицает Карамзин. И — не прав; не слышит голоса истории, старается даже его заглушить. Но он прав в том, что не столько сверху, реформами, законами движется страна, сколько снизу — естественным развитием, исторически сложившейся традицией, успехами просвещения. Сам Карамзин, его книги, его «История» были ведь частью этого просвещения, ответом на понятую потребность. Расхождение со Сперанским было в общем одно, но существенное: в сроках. «Уже пора!» — полагали реформисты. «Еще рано, сначала просветимся!» — возражает Карамзин и предостерегает царя.

Критика «справа»: но разве царя вообще мыслимо критиковать? Нельзя ведь даже обращаться с вопросом без особого дозволения. Поэтому любая критика сама по себе — в некотором смысле подрыв основ. Впрочем, Карамзин часто повторял и, наверное, даже при царе напомнил: «Екатерина II любила, чтобы с ней говорили вольно».

Александр I, действительно, сначала рассердился, попросился холодно. Карамзин же отнесся к этому «философически» — как и тогда, когда узнал, что Александр успокоился, вернее, успокоен сестрой... Позже открылось, что царь уже в это время сам начинал побаиваться, не доверял Сперанскому — и слова Карамзина о преждевременности реформ отозвались...

Аракчеевы радовались.

А ведь историк не хотел аракчеевских темных сил (Дмитриева заверяет: «Я не фанатик и не плут»). Он хотел просвещенного

самодержавия, как лучшей формы в данное время (но не вообще: о том, какого будущего желал историк своей стране, еще скажем. Это очень любопытный сюжет). Царю тоже теперь кажется, что удастся и самодержавие соблюсти и просвещение приобрести. Иллюзия историка, иллюзия (или самообольщение) монарха вдруг совпадают. И царь, может быть, открывает в тверском собеседнике маркиза Позу, того подданного, который не «порицает», но открывает глаза...

Карамзина дважды приглашают в Петербург, намекают на министерские должности. Казалось бы, можно ли устоять, если веришь в эту систему, знаешь, как ей лучше развиваться? Вот случай — провести теорию в практику, «Записку» в политику; вот соблазн: поэт, писатель, историк, «диктующий» царю! Соблазн, который не в XIX веке родился и не в том веке умрет... Карамзин дважды вежливо отказывается: семья — еще одна дочь рождается и умирает, дети болеют, приходится ехать в Нижегородское имение для защиты своих крестьян от местных властей («дела важного не сделал, а себе повредил»), одолевают исторические занятия, глаза слепнут.

Нет времени и сил.

Однако царь предлагает и нечто необычайное — дружбу. Когда Карамзину жалуют Владимира 3-й степени, он объясняет Дмитриеву: «Некогда сказал я тебе в шутку, что не буду носить никаких орденов, если бы мне и дали их: теперь беру эти слова назад. Памятники дружества священны».

Царская дружба. Когда Сперанский в начале 1812-го свергнут, сослан, историку едва не сделано третье, настоящее предложение: Александр советуется с Дмитриевым, «можно ли употребить Карамзина к письмоводству?»; решается вопрос о назначении его государственным секретарем или министром просвещения.

Карамзин: «Если бы мне предложили это место, я бы его взял, потому что отказываться было невозможно в тогдашних обстоятельствах! Я, разумеется, стал бы действовать энергичически». Историку повезло: придворные внимательно следили за новым «фаворитом»; доносы Голенищева-Кутузова тоже не остались без употребления... И царь дал себя отговорить: Карамзин-де не имеет государственного опыта; к тому же полного царского доверия еще не было. Историограф слишком своеобразен и независим. Государственным секретарем назначен литературный противник историка адмирал Шишков. Карамзин: «Видно, Провидению угодно было, чтоб все наши действия в ту эпоху были слабы и ничтожны и чтобы мы спаслись только его силою».

Екатерина Павловна хочет «возместить ущерб» и сделать Карамзина тверским губернатором. Тот отшучивается. «Или буду худым

губернатором, или худым историком». Историк сохранил себя. Устоял перед двором; не себя к ним, но их к себе приноровил. Великий князь Константин однажды берется прямо передать письмо Карамзина к Дмитриеву. Историограф вежливо, но твердо: «На это есть почта». У него рождается дочь, великая княгиня Екатерина Павловна предлагает себя заочно в крестные матери. Честь очень велика, сотни лучших семейств не смели бы и мечтать! Однако Карамзин вежливо отклоняет: «Заочные крестины — только церемония для света».

Члены царской фамилии хотят дружить, но историограф пишет: «Пусть другие забываются!» Никакой фамильярности; дистанция гарантирует большее почтение с обеих сторон. Узнав о честолюбии известного своей бездарностью графа Хвостова¹, Карамзин небрежно замечает: «Как счастливы люди, кои умеют быть столь суетными в 50 лет!»

Позднее Екатерина Павловна удалится за границу, царь же больше предлагать не станет; и Карамзину еще придется не раз задуматься, как это все отразится на судьбе его труда? Так или иначе, он извещает Дмитриева, что возвращается «от настоящего к давно минувшему, от шумной существенности к безмолвным теням, которые некогда так же на земле шумели».

